

Глава 12

Средства и возможности социологии

От одной главы к другой мы с вами путешествовали по миру нашей общей повседневной жизни. Социология была приглашена нами в качестве гида: наш путь пролегал через наши обыденные заботы и проблемы, и перед социологией ставилась задача комментировать, что мы видим и делаем. Как и в любом путешествии под руководством гида, наш гид, мы надеялись, постарается, чтобы мы не пропустили ничего важного, и обратит наше внимание на вещи, мимо которых сами бы мы прошли, не заметив их. Мы также ожидали, что гид объяснит нам то, что до сих пор мы знали лишь поверхностно; расскажет нам об этом то, чего мы не знали. Мы полагали, что в конце нашего путешествия будем знать больше и понимать лучше, чем в начале; когда мы опять возвратимся в нашу повседневную жизнь после этого путешествия, мы будем лучше вооружены для того, чтобы справляться со стоящими перед нами проблемами. И не обязательно наши попытки разрешить их будут более успешны, но по крайней мере мы знаем, что это за проблемы и что требуется для их решения, если оно вообще возможно.

Я думаю, что социология, насколько мы узнали о ней в нашем путешествии, вполне справилась с поставленной задачей; но она разочаровала бы нас, если бы мы ожидали от нее чего-то большего, чем просто комментарий, набора объяснительных примечаний к нашему повседневному опыту. Именно комментарий и должна предоставлять социология. Социология — это углубление того знания, которым мы обладаем и пользуемся в нашей повседневной жизни, поскольку она раскрывает некоторые весьма тонкие различия и не вполне очевидные связи, недоступные невооруженному глазу. Социология отмечает больше деталей на нашей “карте мира”, а также расширяет эту карту за пределы нашего повседневного опыта, с тем чтобы мы видели, как обитаемые нами территории вписываются в не исследованный еще нами окружающий мир. Разница между тем, что мы знаем и без социологии, и тем, что мы знаем теперь, после знакомства с ее комментариями, не является разницей между ошибочным и истинным знанием (хотя, давайте признаем, что иногда социология то тут, то там исправляет наши мнения); это скорее различие между уверенностью в том, что наши переживания и опыт можно описать и объяснить одним и только одним способом, и знанием того, что возможные — вероятностные — интерпретации многочисленны. Можно сказать, что социология — это еще не предел наших поисков понимания, но ободрение для того, чтобы продолжать их, и препятствие на пути самодовольства, убивающего любознательность и останавливающего всякие поиски. Говорят, лучшее, что может сделать социология, это — “подстегнуть ленивое воображение”, показывая несомненно знакомые вещи в неожиданных ракурсах и тем самым рассеивая обыденность и самодовольство.

А вообще, относительно того, что может и должна предлагать социология как “социальная наука” (т.е. как совокупность знаний, провозглашающих превосходство над простыми мнениями и суждениями и обладающих надежной, достоверной, правильной информацией о том, как *в действительности* обстоят дела), существуют два очень разных ожидания.

Одно из них ставит социологию наравне с другими видами специального знания, обещающими поведать нам о наших проблемах и рекомендуящими нам, что с ними делать и как от них избавиться. Социология рассматривается как что-то вроде учебника по искусству жизни, подсказывающего нам, как достичь желаемого, как перепрыгнуть или обойти препятствия на пути к нему. В конечном счете это ожидание сводится к вере в то, что раз мы знаем о взаимозависимости различных элементов нашей ситуации, то мы сможем свободно ее контролировать, подчинять ее нашим целям или по крайней мере заставить ее лучше служить им. Собственно, это и

называется научным знанием. Мы так высоко ценим его за то, что оно делает нас мудрее, и эта мудрость, как нам кажется, дает нам возможность *предсказывать*, чем все обернется; за его способность предсказывать ход событий (а тем самым и последствия собственных действий), позволяющую нам действовать свободно и рационально, т.е. делать только такие ходы, которые гарантируют желаемый результат.

Второе ожидание тесно связано с первым, но оставляет открытыми положения, подчеркивающие идею инструментальной пользы, т.е. предпосылки, которые у предыдущего ожидания не было нужды выделять. Контролировать ситуацию так или иначе должно означать приманивать, принуждать или как-то еще заставлять других людей (которые всегда являются частью ситуации) вести себя таким образом, чтобы их поведение способствовало достижению того, что нам нужно. Как правило, контроль над ситуацией не может не означать также и контроля над другими людьми (в конце концов, искусство ведения жизни и представляется как “способ завоевывать друзей и влиять на людей”). В этом втором ожидании желание контролировать других людей выходит на первый план. На социологию возлагаются надежды, что она поддержит усилия по созданию порядка и устранению хаоса, который, как мы показали в предыдущих главах, является отличительным признаком нашего времени. От социолога, исследующего внутренние побуждения человеческого поведения, ожидают практически полезной информации о том, как следует все упорядочить, чтобы выявить показательные типы поведения или, наоборот, предотвратить поведение, не соответствующее сконструированной модели порядка. Так, фабриканты могут спросить у социологов, как предотвратить забастовки; командующие войсками, оккупирующими чужую страну, могут спросить, как бороться с партизанами; полицейские могут проверить практические рекомендации по рассеиванию толпы и сдерживанию потенциальных бунтовщиков; управляющие торговыми компаниями могут затребовать наилучших способов искушения потенциальных покупателей; чиновники, занимающиеся делами общественности, могут спросить, как сделать нанявших их политиков более популярными и избираемыми; сами же политики могут обратиться за советом, какие методы поддержания законности и порядка наиболее эффективны (т.е. как заставить своих подданных подчиняться закону, желательно добровольно, даже тогда, когда им не нравятся эти законы).

Суть всех этих требований заключается в том, чтобы социолог советовал, как урезать свободу некоторых людей так, чтобы, несмотря на то что их выбор будет ограниченным, поведение все-таки было бы более предсказуемым. От социолога требуется знание о том, как преобразовать данных людей из *субъектов* их собственного действия в *объекты* действия других людей; как применить к человеческому поведению на практике что-то вроде модели “бильярдного шара”, в которой все, что делают люди, целиком и полностью обуславливается толчками извне. Чем больше человеческое поведение будет походить на движения такого “бильярдного шара”, тем более полезными будут и услуги социологов для поставленной цели. Даже если люди не могут перестать выбирать и принимать решения, то внешний контекст их действий должен подвергаться таким манипуляциям, при которых было бы совершенно исключено, чтобы их выборы и решения были направлены против желаний манипуляторов.

Чаще всего такие ожидания выливаются в требование *научности* социологии: социология должна оформлять свою деятельность и ее результаты по образцу наук, которые мы все высоко ценим за их явную практическую полезность, т.е. за приносимые ими ощутимые выгоды. Социология должна выдавать столь же точные, практически полезные и эффективные рецепты, какие выдают, например, физика или химия. По их замыслу, эти и подобные им науки имели целью приобретение вполне

определенного вида знания, т.е. такого, которое в итоге ведет к полному овладению объектом исследования. Этот объект, сконструированный наподобие “природного” объекта, не наделяется собственной волей, целеполаганием, поэтому он может быть безо всякого сожаления полностью подчинен воле и целеполаганию человека, стремящегося использовать его с целью лучшего удовлетворения своих потребностей. Язык науки, описывающий “природные” объекты”, был тщательно очищен от всех понятий, соотносящихся с целью или смыслом; после этой очистки остался только “объективный” язык, конструирующий свои объекты лишь постольку, поскольку они, во-первых, воспринимают, а не производят действие, и, во-вторых, направляются внешними силами, однозначно представляемыми как “слепые”, т.е. не направленные на какую-либо определенную цель и свободные от каких бы то ни было намерений. Описанный таким образом естественный мир воспринимался как “свободный для всех”, как целина, ждущая, когда ее возделают и преобразуют в спланированный с определенной целью участок, более пригодный для человеческого обитания. Объективность науки нашла выражение в том, что она докладывала о своих открытиях бесстрастным, техническим языком, подчеркивающим непреодолимое различие между людьми как носителями целей и природой, предназначенной для формирования и преобразования в соответствии с этими целями. Наука провозгласила своей целью способствовать “господству человечества над природой”.

Главным образом с этой целью и предпринимались исследования мира. Природа должна была изучаться с тем, чтобы мастера знали, как придать ей желаемую форму (представьте, например, скульптора и глыбу мрамора, которую он хочет преобразить в подобие человеческой фигуры. Чтобы осуществить эту цель, он должен прежде всего знать о внутренних свойствах камня. Отбивать и откалывать куски мрамора, не разбивая его, можно только по некоторым определенным направлениям. Для того чтобы придать куску мрамора задуманную форму, т.е. подчинить камень своему замыслу, скульптор должен научиться распознавать эти направления. Искомое им знание подчинило бы мертвый камень его воле и позволило преобразовать его в соответствии с представлениями скульптора о гармонии и красоте). Именно так и было сконструировано научное знание: *объяснить* объект науки означало получить возможность *предсказать*, что произойдет, если то-то и то-то имеет место быть; обладая такой способностью предсказания, человек получает возможность действовать, т.е. навязывать уже завоеванной и покоренной части реальности свой замысел, наилучшим образом отвечающий поставленной цели. Реальность рассматривалась прежде всего как сопротивление человеческой целенаправленной деятельности. Задача науки заключалась в том, чтобы найти способы преодоления этого сопротивления. Конечное завоевание природы означало бы освобождение человечества от природных ограничений, возрастание, так сказать, нашей коллективной свободы.

Все добытое ценное знание должно было соответствовать этой модели науки. Любой вид знания, желающий снискать общественное признание, найти себе место в академическом мире и получить свою долю общественных ресурсов, должен был доказать свое сходство с естественными науками, свою способность выдавать столь же полезные практические указания, которые позволят нам лучше приспособить этот мир для человеческих целей. Требование приспособиться к стандарту, установленному естественными науками, было настойчивым и не терпящим возражений. Даже если мысль о роли архитекторов или проектировщиков социального порядка и не посещала отцов-основателей социологии, даже если единственным, к чему они стремились, было понять более полно человеческое положение, они не могли (скрыто или явно) не принять доминирующую модель науки как прототип “хорошего знания” и образец всепонимания. Поэтому они

должны были показать, что для изучения человеческой жизни и деятельности можно изобрести такие же точные и объективные методы, как и методы, используемые науками о природе, и что в результате их применения может быть получено столь же точное и объективное знание. Они должны были доказать, что социология сможет подняться до статуса науки и тем самым быть принятой в академическую семью на равных с ее более старшими и задающими тон членами.

Долгий путь, пройденный социологией от этого стремления к ее современному социологическому дискурсу (способу рассуждений и обмена суждениями), объясняет и его специфическую форму с тех пор, как социология обосновалась среди других наук в мире академического преподавания и исследования. Усилия сделать социологию “научной” доминировали в этих рассуждениях о ее судьбе и призвании; данная задача заняла почетное место среди интересов участников обсуждений. Нарождавшаяся академическая социология использовала три стратегии для выполнения указанной задачи, все они были апробированы и последовательно соединились в той форме, которую приняла официальная социология.

Первая стратегия нагляднее всего просматривается в трудах основателя академической социологии во Франции Эмиля Дюркгейма. Дюркгейм принял как само собой разумеющийся факт существования модели науки, разделяемой всеми областями знания, которые претендуют на научный статус. Данная модель характеризуется прежде всего *объективностью*, т.е. четким отделением объекта исследования от изучающего его субъекта, представлением этого объекта как чего-то “внешнего”, что должно быть подвергнуто рассмотрению исследователя, должно наблюдаться и описываться на строго нейтральном и отстраненном языке. Так как вся наука действует одним и тем же образом, то научные дисциплины различаются лишь тем, что общий всем им тип объективного рассмотрения направляется на различные области реальности; мир, так сказать, делится на участки, каждый из которых исследуется отдельной научной дисциплиной. Все исследователи одинаковы: все они владеют сходными техническими навыками и занимаются деятельностью, подчиненной сходным правилам и законам поведения. И реальность, которую они изучают, для всех одна и та же, всегда состоящая из “внешних” объектов, ожидающих наблюдения, описания и объяснения. Отличает же научные дисциплины друг от друга только разделение исследуемой территории. Различные отрасли науки делят мир между собой, и каждая из них берет на себя один его фрагмент — свой собственный “набор вещей”.

Если дело с науками обстоит именно так, то для того, чтобы социология смогла занять свое место в науке, т.е. стать наукой, она должна найти фрагмент мира, еще не освоенный существующими научными дисциплинами. Подобно мореплователю, социология должна открыть континент, над которым еще не объявлен ничей суверенитет и над которым она может установить собственное несомненное господство благодаря своей научной компетенции и авторитету. Проще говоря, социология как наука и как отдельная, независимая научная дисциплина может быть легитимирована только в том случае, если найден до сих пор не известный “набор вещей”, ожидающий научного анализа.

Дюркгейм полагал, что специфически *социальные* факты, т.е. явления коллективности, не свойственные ни одному конкретному человеку в отдельности (как общие представления и образцы поведения), могут быть приняты как такие вещи и изучаться в объективной, отстраненной манере подобно другим вещам. В самом деле, эти явления представляются индивидам вроде нас с вами почти такими же, как и остальная “внешняя” реальность: они жестоки, упрямы и не зависят от нашей воли признавать или не признавать их, поскольку мы не вольны избавиться от них. Они присутствуют здесь независимо от того, знаем мы о них или нет, почти как стол или

кресло, занимающие определенное место в комнате, независимо от того, смотрю я на них или думаю о них. Более того, я могу игнорировать их присутствие только в ущерб себе. Если я буду вести себя так, словно их нет, то буду жестоко наказан (если я игнорирую *естественный* закон всемирного тяготения и покину комнату через окно, а не через дверь, то буду наказан — сломаю ногу или руку. Если я игнорирую социальную норму — закон и моральный запрет воровать, то я также понесу наказание: буду заключен в тюрьму или подвергнут остракизму со стороны своих товарищей). Фактически я постигаю существование социальной нормы трудным путем: когда я нарушаю ее и тем самым “нажимаю на спусковой крючок” карательных санкций против меня.

Итак, мы можем сказать, что хотя социальные феномены, как совершенно очевидно, не могут существовать без людей, тем не менее они находятся не *внутри* человека как индивида, а *вне* его. Вместе с природой и ее непреложными законами они составляют жизненно важную часть объективного окружения любого человека, часть внешних условий любого человеческого действия и человеческой жизни в целом. Нет никакого смысла пытаться узнать об этих феноменах, спрашивая о них людей, подчиняющихся их силе (невозможно изучать закон всемирного тяготения, собирая мнения людей, вынужденных ходить по земле, а не летать). Информация, полученная путем опроса людей, была бы смутной, неполной и противоречивой: люди, к которым мы обращаемся с вопросами, мало что могут рассказать нам, поскольку они не изобретают и не создают изучаемые явления, они находят их уже готовыми и знакомятся с ними (т.е. вынуждены осознать их наличие) лишь фрагментарно и кратко. Поэтому социальные факты надо изучать непосредственно, объективно, “со стороны”, наблюдая систематически, т.е. точно так же, как изучаются все остальные вещи, находящиеся “во вне”.

В одном отношении, полагает Дюркгейм, социальные факты существенно отличаются от фактов природы. Связь между нарушением закона природы и последующим ущербом непосредственная: она не привносится человеческим замыслом (и ничьим замыслом вообще). Связь же между нарушением общественной нормы и понесенным нарушителями наказанием, напротив, является “искусственной”. Определенное поведение наказуемо потому, что общество осуждает его, а не потому, что само это поведение влечет за собой ущерб для его исполнителя (так, воровство не причиняет ущерба самому вору, наоборот, может быть даже выгодным для него; если вор в результате наказан, то только потому, что общественная мораль восстала против воровства). Это различие, однако, не умаляет “вещественного” характера социальных норм и возможность их объективного изучения. Верно как раз обратное: оно еще больше прибавляет к “вещественной” природе норм, так как они оказываются истинным материалом и эффективными причинами, обуславливающими регулярность и неслучайность человеческого поведения и, следовательно, социального порядка как такового. Именно такие “подобные вещам” социальные факты, а не настроения или чувства индивидов (которые так страстно исследуют психологи) обеспечивают истинное объяснение человеческого поведения. Желая правильно описать и объяснить человеческое поведение, социолог должен (и его призывают) оставить в стороне человеческую душу, намерения и личные смыслы, о которых нам могут поведать только сами индивиды (“загадки человеческой души”, таким образом, обречены оставаться незамеченными и непроницаемыми), и обратиться к изучению явлений, которые можно наблюдать со стороны и которые будут казаться разным наблюдателям одинаковыми.

Это одна из возможных стратегий, с помощью которой можно добиваться научного статуса социологии. Совсем другая стратегия предложена в работах Макса Вебера. Мысль о том, что существует один, и только один, способ “быть наукой” и

что поэтому социология должна самоотверженно подражать естественным наукам, Вебер категорически отвергает. В противовес этому он полагает, что социологическая практика, не теряя присущей научному знанию точности, должна отличаться от естественных наук так же, как отличается социальная реальность, исследуемая социологом, от нечеловеческого мира, исследуемого науками о природе.

Реальность у людей, или человеческая реальность, отличается (и в этом она поистине уникальна) тем, что действующие субъекты наделяют свои действия смыслом. Они обладают мотивами, действуют, чтобы достичь поставленных целей. Именно цели объясняют их действия. По этой причине человеческие действия, в отличие от пространственных перемещений физических тел или химических реакций, надо прежде всего понять, а не объяснить. Точнее, объяснить человеческое действие — значит *понять* его: уловить смысл, которым действующий субъект наделяет его.

То, что человеческие действия осмысленны и потому требуют исследований особого рода, было известно и до Вебера. Эта идея еще задолго до него служила основанием герменевтики — теории и практики “раскрытия смысла”, заложенного в литературном тексте, живописи или в каком-либо другом продукте созидающего духа. Герменевтические исследования безрезультатно боролись за научный статус. Теоретикам герменевтики было трудно доказать, что метод и открытия герменевтических изысканий могут быть столь же объективными, как и методы и результаты науки, т.е. что можно закодировать метод герменевтического исследования настолько точно, что любой исследователь, выполняющий его требования, придет к тем же выводам. Такой научный идеал представлялся герменевтикам недостижимым. Казалось, для того чтобы понять смысл текста, его интерпретаторы должны “поставить себя на место автора”, посмотреть на текст глазами автора, продумать его мысли, короче — быть, думать, рассуждать, чувствовать, как автор (такое “перевоплощение” в жизнь и в дух автора, переживание и повторение его опыта получило название эмпатии). Это требует истинной духовной близости с автором и невероятной силы воображения, результаты же будут зависеть не от унифицированного метода, с одинаковым успехом доступного *каждому*, а от *уникального* таланта единичного интерпретатора. Следовательно, вся процедура интерпретации относится скорее к искусству, нежели к науке. Если интерпретаторы предлагают весьма различные интерпретации, то можно выбрать одно из конкурирующих предложений, более богатое, пронизательное, глубокое, эстетически приятное или в каком-либо другом отношении более удовлетворительное, чем остальные; но все это не может служить причиной, позволяющей нам сказать, что предпочтительная для нас интерпретация является *истинной*, а те, что нам не нравятся, — *ложными*. Утверждения же, которые не могут быть однозначно определены как истинные или ложные, не могут принадлежать науке.

И все же Вебер настаивал на том, что, будучи исследованием человеческих действий, нацеленным на их понимание (т.е. как и герменевтика, стремящаяся постичь их смысл), социология все-таки может достичь уровня объективности, присущего научному знанию. Другими словами, он считал, что социология может и должна получить объективное знание о субъективной человеческой реальности.

Совершенно ясно, что не все человеческие действия могут быть интерпретированы таким образом, так как многое в нашей деятельности является либо традиционным, либо аффективным, т.е. направляемым либо традициями, либо эмоциями. В обоих случаях действие *не рефлексивно*: когда я действую в раздражении или следуя повседневным привычкам, я не рассчитываю мои действия и не преследую определенных целей; я не планирую, не контролирую свое действие как средство, ведущее к определенной цели. Традиционные и эмоциональные действия обуславливаются факторами, которые не подвластны контролю моего

сознания, как и природные явления; и подобно природным явлениям, эти действия бывают поняты лучше, когда указана их причина. Действия, называемые *рациональными*, т.е. *рефлексивные, рассчитанные* действия, сознательно воспринимаемые, контролируемые и нацеленные на осознаваемый результат (действия типа “для чего”), требуют понимания смысла, а не причинного объяснения. Если традиции слишком разнообразны, а эмоции неповторимы и глубоко личны, то *разум*, который мы используем для соизмерения целей и средств, выбираемых для достижения целей, присущ всем человеческим существам. Поэтому я могу извлечь смысл из наблюдаемого мною действия не путем догадок относительно того, что происходит в головах действующих, и не путем “продумывания их мыслей” (т.е. не путем эмпатии), а подбирая к действию мотив, имеющий смысл и тем самым делающий действие осмысленным для меня и для любого другого наблюдателя. Если вы в порыве гнева ударите своего приятеля, то мне это может показаться бессмысленным, если я — человек спокойный, никогда не испытывающий сильных эмоций. Но если я вижу, что вы не спите за полночь и пишете сочинение, мне легко будет установить смысл наблюдаемого (и любому это легко будет сделать), поскольку я знаю, что написание сочинений — это прекрасное, проверенное средство приобретения знаний.

Коротко говоря, Вебер полагал, что рациональное сознание может узнать себя в другом рациональном сознании, и до тех пор, пока изучаемые действия рациональны (рассчитаны, целенаправлены), они могут быть рационально поняты, т.е. объяснены посредством установления смысла, а не причины. Поэтому социологическому знанию вовсе не надо быть ниже науки. Напротив, оно имеет явное преимущество по сравнению с наукой в том, что может не просто описывать, но также и *понимать* свои объекты — людей. Как бы тщательно ни исследовался мир, описываемый наукой, он остается бессмысленным (можно знать все о дереве, но нельзя “понимать” дерево). Социология идет дальше науки — она раскрывает *смысл* изучаемой ею реальности.

Существовала и третья стратегия, пытавшаяся поднять социальное исследование до статуса науки: показать, что социология как наука имеет непосредственное и эффективное практическое применение. Эта стратегия с особым энтузиазмом использовалась первопроходцами социологии в Соединенных Штатах Америки — стране, известной прагматическим складом ума ее граждан, признанием ими практического успеха высшим критерием ценности и, в конечном счете, истины. В отличие от европейских коллег первые американские социологи не имели времени для теоретизирования о природе их занятий, они не утруждали себя философским обоснованием социологической практики. Вместо этого они всерьез решили показать, что доставляемое социологическим исследованием знание может быть использовано точно так же, как на протяжении многих лет использовалось научное знание с его неоспоримыми результатами: оно может быть использовано для предсказания и “манипулирования” реальностью, для изменений ее в соответствии с нашими потребностями и намерениями, каковы бы они ни были и как бы они ни определялись и ни отбирались.

Эта третья стратегия сосредоточилась на разработке методов) *социального диагноза* (на опросах, детально описывающих точное состояние дел в определенной сфере социальной жизни) и общей теории человеческого поведения (т.е. факторов, обуславливающих такое поведение; надежды возлагались на то, что исчерпывающее знание таких факторов сделает человеческое поведение предсказуемым и поддающимся манипуляции). С самого начала социологии был задан практический тон, причем этот тон задавали вечные социальные проблемы — рост преступности, подростковая преступность, алкоголизм, проституция, ослабление семейных связей и т.д. Социология обосновывала свои притязания на общественное признание

обещаниями помочь в управлении социальными процессами, как геология и физика помогают в строительстве небоскребов. Другими словами, социология поступила на службу построения и поддержания социального порядка. Она разделяла интересы правителей общества, людей, выполняющих задачу по руководству поведением других. Обещание практической пользы было адресовано и воспринято в новых сферах управленческой деятельности. Услуги социологии были использованы для того, чтобы снять антагонизм и предотвратить конфликты на фабриках и шахтах; способствовать адаптации новобранцев в боевых частях армии; помочь продвижению новых коммерческих продуктов; реабилитировать бывших преступников; увеличить эффективность программ социального обеспечения.

Эта стратегия более всех соответствовала формуле Фрэнсиса Бэкона “покорять природу, повинуюсь”; она перепутала истину с пользой, информацию с контролем, знание с властью. Она восприняла призыв власть имущих доказать обоснованность социологического знания практическими выгодами, которые она может дать для управления общественным порядком, для разрешения проблем, какие представляют себе и формулируют те, кто следит за порядком и управляет им. Тем самым социология, воспринявшая такую стратегию, должна была принять во внимание перспективу управления: рассматривать общество “сверху” как материал, обладающий способностью к сопротивлению, как объект манипуляции, внутренние свойства которого нужно лучше узнать, чтобы он стал податливее и восприимчивее к той форме, какую ему захотят придать.

Пересечение интересов социологии и управления, возможно, и приблизило социологию к государственному, промышленному или военному руководству, но в то же время сделало уязвимой для критики тех, кто воспринимал контроль “сверху”, т.е. со стороны властей, как угрозу дорогим для них ценностям и особенно индивидуальной свободе и общественному самоуправлению. Критики отмечали, что следование данной стратегии заставляет активно поддерживать существующую асимметрию власти. Неправильно думать, утверждали они, будто знание и практические рекомендации, вырабатываемые социологией, могут в равной мере служить любому, кто захочет их использовать, и рассматриваться как нейтральные и беспартийные. Далеко не каждый может использовать знание, построенное с точки зрения управленческой перспективы: его применение, в конце концов, требует ресурсов, которыми распоряжаются только управляющие. Таким образом, социология лишь усиливает контроль над теми, кого уже контролируют; она еще больше меняет ситуацию в пользу тех, кто уже наслаждается лучшим положением. Следовательно, социология способствует неравенству и социальной несправедливости. Все это делает положение социологии противоречивым: она испытывает давление с разных сторон, и примирить силы давления трудно. То, чего требует от социологии одна сторона, другая рассматривает как нечто отвратительное и решительно отвергает. Ответственность за такую противоречивость нельзя возлагать только на социологию. Социология является жертвой реального социального конфликта, внутреннего противоречия, раскалывающего все общество, т.е. противоречия, которое социология не в силах разрешить.

Противоречие заключено в самой перспективе *рационализации*, присущей современному обществу. Рациональность — это обоюдоострое оружие. С одной стороны, она помогает индивидам больше контролировать свои действия. Рациональный расчет, как мы видели, может лучше направить действие к цели, поставленной действующим субъектом, и тем самым увеличить эффективность этого действия. В целом же рациональные индивиды, видимо, с большой долей вероятности достигают своих целей, чем те, кто ничего не планирует, не рассчитывает и не контролирует свои действия. Поставленная на службу индивиду рациональность может увеличить степень его свободы. С другой стороны,

обратившись однажды к окружению индивидуального действия — к организации общества в целом, рациональный анализ может с тем же успехом и ограничить индивидуальный выбор или сократить набор средств, которыми может пользоваться индивид для достижения своих целей. То есть рациональный анализ может достичь прямо противоположных целей: урезать индивидуальную свободу. Поэтому возможные варианты использования рациональности принципиально несовместимы и обречены оставаться противоречивыми.

Противоречия, окружающие социологию, являются лишь отражением двойственной природы рациональности, и социология ничего не может поделать с этим. Вот почему противоречия останутся и в будущем. Власть предрасполагающая по-прежнему будут обвинять социологию в том, что она подрывает их власть над подданными и возбуждает социальное недовольство и напряжение. Люди же, отстаивающие свой образ жизни от удушающих запретов, налагаемых властью, обеспеченной всеми ресурсами, будут по-прежнему недоумевать или чувствовать себя оскорбленными, видя социологов в роли советников или прислужников своих давних противников. В любом случае бремя обвинений будет отражать степень существующего конфликта.

Научный статус социологии, отражающей атаки с двух сторон, оказывается весьма сомнительным. Ее соперники жизненно заинтересованы в обесценении социологического знания, а отказ в научном статусе прекрасно служит этой цели. Именно такое двойное обвинение, с которым сталкиваются лишь немногие отрасли науки, делает социологов столь чувствительными к проблеме их собственного статуса ученых и порождает все новые попытки убедить и ученое сообщество, и широкую общественность в том, что производимое социологами знание может претендовать на истинность общепринятого в научном мире образца. Однако попытки эти так и остаются безрезультатными. Кроме того, они отвлекают внимание от тех реальных преимуществ, которые социологическое мышление может предложить для обыденной жизни.

Любое знание, будучи упорядоченной картиной мира, картиной порядка, содержит в себе и интерпретацию этого мира. Оно не является, как нам иногда кажется, отражением вещей самих по себе, как они есть; скорее вещи становятся для нас существующими благодаря имеющемуся у нас знанию: словно наши грубые, беспорядочные ощущения спрессованы в вещи и распределены по контейнерам, которые наше знание для них уже заготовило в виде категорий, классов, типов. Чем большим знанием мы обладаем, тем больше вещей мы видим, тем большее количество разных вещей мы различаем в этом мире. Можно даже сказать, что выражения “У меня больше знаний” и “Я различаю больше вещей в мире” означают одно и то же. Если я изучаю искусство живописи, то мое доселе нерасчлененное представление о “красном” начинает делиться на все возрастающее число специфических и вполне отличных друг от друга представителей “семьи красных цветов”: теперь я различаю адрианопольский красный, огненно-красный, чемерично-красный, индийский красный, японский красный, карминный, кармазинный, рубиновый, основной красный, пунцовый, кроваво-красный, багряный, алый, альпийский красный, помпейский красный, персидский красный и все увеличивающееся число других красных цветов. Разница между человеком несведущим, не разбирающимся в живописи и специалистом, профессиональным художником или искусствоведом будет заключаться в неспособности первого увидеть цвета, которые для второго представляются явно (и “естественно”) различными. Она может выражаться и в утрате вторым способности первого видеть “красный” вообще как таковой, воспринимать все предметы, окрашенные в различные оттенки красного, как предметы одного цвета.

В любой области, сфере приобретение знания состоит в научении проводить новые различия, делать единообразное разделенным, видеть различия более специфическими, делить большие классы на меньшие, чтобы интерпретация опыта становилась более богатой и подробной. Мы часто слышим, что образованность людей измеряется богатством словарного запаса, который они используют (“Как много слов в их языке!”). Вещи можно описать как “прекрасные”, но это “прекрасное” можно сделать более конкретным, и тогда окажется, что вещи, описанные таким образом, могут быть восприняты как “прекрасные” по многим причинам: потому что они упоительны, приятны на вкус, добры, хорошо подходят к чему-либо, сделаны со вкусом или “правильно поступают”. Кажется, что богатство опыта и языка возрастает одновременно.

Язык не приходит в жизнь “извне” сообщить о том, что уже произошло. Язык с самого начала пребывает внутри жизни. В самом деле, можно сказать, что язык есть *форма жизни*, и любой язык — английский, китайский, португальский, язык рабочего класса, “благородный” язык, официальный язык государственных служащих, арго низших слоев, жаргон подростковых компаний, язык искусствоведов, моряков, физиков-ядерщиков, хирургов, шахтеров — является полноценной формой жизни. Каждый из них имеет свою карту мира (или конкретной его части) и свой кодекс поведения с двумя различными порядками, с двумя сторонами различия (одна — восприятие, другая — поведенческая практика), параллельными и согласованными. Внутри каждой формы жизни карта и кодекс взаимосвязаны. Мы можем их представить себе в отдельности, но на практике их разьять невозможно. Различия в названиях вещей отражают наше восприятие различия их качеств, а тем самым различия в их использовании и нашем обращении с ними; но признание нами качественных различий отражает и различия, которые мы применяем в наших действиях с ними и в наших ожиданиях, с которых собственно и начинаются наши действия. Вспомним то, что мы уже отмечали: понять — значит знать, как поступать дальше. И наоборот: если мы знаем, как поступать дальше, значит мы поняли. Именно это пересечение, эта гармония между способом действия и способом видения мира заставляет нас предположить, что различия присущи самим вещам, что окружающий нас мир сам по себе подразделяется на отдельные части, различаемые в нашем языке, что названия “принадлежат” обозначаемым ими вещам.

Существует много форм жизни. Они, разумеется, отличаются одна от другой; их различия, в конце концов, и делают их отдельными формами жизни. Но они не отгорожены друг от друга непроницаемыми стенами; не следует представлять их как замкнутые, опечатанные миры с перечнем их содержимого, со всеми предметами, принадлежащими только им. Формы жизни — это упорядоченные, общие образцы, но зачастую навязываемые друг другу. Они пересекаются и соперничают в определенных областях целостного жизненного опыта. Это, так сказать, различные подборки и различные варианты организации одних и тех же частей целостного мира и одних и тех же вещей, взятых из общего запасника. В течение одного дня я прохожу через многие формы жизни, но где бы я ни проходил, я и с собой несу части других форм жизни (поэтому мой образ действий, например в исследовательском коллективе, где я работаю, “несет на себе отпечаток” региональных и местных особенностей формы жизни, которой я живу как частное лицо; а мое участие в соседской форме жизни, в свою очередь, несет на себе следы особой религиозной конгрегации, к которой я принадлежу и в жизни которой участвую, и т.д.). В каждой форме жизни, через которую я прохожу в течение всей моей жизни, я разделяю знания и кодексы поведения с различными совокупностями людей; и каждая из этих совокупностей может обладать уникальным сочетанием форм жизни. По этой причине ни одна из форм жизни не является “чистой”; не является она и статичной, заданной раз и навсегда. Мое вхождение в какую-либо форму жизни не является для

меня пассивным процессом примитивного заучивания, не является оно и процессом выворачивания наизнанку, переплавки и переименования моих мыслей и навыков только ради того, чтобы они соответствовали строгим правилам, которым я теперь намерен подчиняться. Мое вхождение изменяет форму жизни, мы *оба* меняемся: я приношу с собой нечто вроде приданого (в виде частей других форм жизни, остающихся со мной), которое преобразует содержание той формы жизни, где я еще новичок, поэтому после моего вхождения эта форма жизни уже не та, что была прежде. И таким образом она изменяется постоянно. Каждый акт вхождения (изучение, владение, использование языка, который конституирует данную форму жизни) является творческим актом — актом преобразования, трансформации. Иначе говоря, языки, как и общности — их носители, являются открытыми и динамическими образованиями. Они могут существовать только в состоянии постоянного изменения.

Именно поэтому все время возникают проблемы понимания (равно как и опасность недоразумений и прекращения коммуникации). Предпринимаемые вновь и вновь попытки сделать общение понятным и несложным (путем “замораживания” интерпретаций, содержащихся в языке, навязывания каждому слову однозначного и обязательного определения) ничего не дают и не могут дать, поскольку разговаривающие на данном языке люди, имеющие свои собственные отличные от других интерпретации одних и тех же слов, постоянно привносят во взаимодействие людей различные совокупности форм жизни. В ходе их взаимодействия смыслы претерпевают едва уловимое, но постепенное и неизбежное изменение. Теперь они приобретают окраску, начинают ассоциироваться с конкретными объектами (референтами), от которых раньше были далеки; они замещают старые смыслы и претерпевают многие другие изменения, которые не могут не изменить язык как таковой. Можно сказать, что процесс коммуникации (связи, общения) — действие, нацеленное на достижение взаимопонимания, на “перемалывание” различий, на согласование интерпретаций, — предотвращает застой в любой форме жизни. Для того чтобы уяснить себе это замечательное качество форм жизни, представьте себе водовороты в течении реки: кажется, будто каждая воронка имеет постоянную форму и “остаётся прежней”, сохраняющей свою “идентичность” на протяжении длительного периода времени; и тем не менее, как нам хорошо известно, она не может удержать ни одной молекулы воды дольше, чем на пару секунд, ее вода постоянно течет. Если же вы полагаете, что это недостаток водоворота и что для его безопасности, для “выживания” было бы лучше, если бы поток воды в реке остановился, то подумайте: это означало бы и “смерть” водоворота. Он не может “жить” (не может сохранять свою форму как отдельная и устойчивая идентичность) без постоянного притока и истока все нового и нового количества воды (которая, между прочим, всегда несет какие-нибудь новые неорганические и органические элементы).

Можно сказать, что языки, или формы жизни, подобно водоворотам, подобно самим рекам, продолжают жить и сохраняют свою идентичность, свою относительную автономию, именно потому, что они постоянно текут и способны впитывать новый материал, одновременно избавляясь от “отработанного”. Но это значит, что формы жизни (все языки, все совокупности знаний) погибли бы, если бы вдруг оказались закрытыми, неподвижными и не поддающимися изменению. Они не пережили бы своей окончательной систематизации, кодификации и той точности, которую подразумевает такая упорядоченность. Иначе говоря, языки и знание вообще нуждаются в двойственности (амбивалентности), чтобы оставаться живыми, сохранять целостность, а также пригодность к употреблению.

Однако власть, стремящаяся упорядочить “месиво” реальности, не может не рассматривать эту двойственность как препятствие на пути к достижению ее целей.

Она, естественно, пытается заморозить водоворот, преградить путь всем нежелательным поступлениям в контролируемый ею массив знания, “запечатать” форму жизни, на которую она хочет сохранить свою монополию. Стремление к однозначному знанию (“верному” благодаря отсутствию конкуренции) и попытки упорядочить действительность, сделать ее податливой для самоутверждающегося, эффективного действия, сливаются в единое целое. Желать полного контроля над ситуацией означает ратовать за четкую “лингвистическую карту”, на которой значения слов не подлежат сомнению и никогда не оспариваются; на которой каждое слово безошибочно указывает на своего референта, и только эта связь может подразумеваться при его использовании. Вследствие этого двойственность знания постоянно порождает попытки “зафиксировать” определенное знание как обязательное и не подлежащее сомнению, т.е. как ортодоксальное, заставить уверовать в то, что это, и только это знание является безошибочным, что оно вне подозрений или по крайней мере лучше (более правдоподобно, надежно и полезно), чем его соперники. Она порождает тем самым и попытки обесценить альтернативные формы знания как низшие, заслуживающие названия предрассудка, суеверия, предвзятости или невежества, т.е. в любом случае ереси, постыдного отклонения от истины.

Эта борьба на два фронта (защита позиций ортодоксии и предотвращение или уничтожение ереси) контролирует интерпретацию как свою цель. Существующая власть стремится получить исключительное право решать, какую из возможных интерпретаций следует выбрать и признать истинной (истинной, по определению, может быть только одна конкурирующая версия, а многие версии — ложны; ошибки многочисленны, а истина одна; презумпция монополии, исключительности, отсутствия конкуренции заключена в самой идее истины). Стремление к монополизации власти выражается в объявлении сторонников альтернативы диссидентами, в общей *нетерпимости* к плюрализму мнений, в цензуре и в крайнем своем выражении — в преследовании (сожжение еретиков инквизицией, расстрел диссидентов во время сталинских чисток, узники совести при современных диктаторских режимах).

По своей природе социология на редкость плохо приспособлена к такому занятию, как “запирание” и “опечатывание”. Социология — это расширенный комментарий опыта обыденной жизни, интерпретация, основывающаяся на других интерпретациях и, в свою очередь, питающая их. Она не конкурирует, но соединяет свои силы с другими частными дисциплинами, занимающимися интерпретацией человеческого опыта (литература, искусство, философия). Социологическое мышление, по меньшей мере, подрывает веру в исключительность и полноту какой бы то ни было интерпретации. Оно привлекает внимание к множественности опытов и форм жизни, показывает каждую из них как целостность саму по себе, как мир со своей собственной логикой и в то же время разоблачает всю фальшь ее самодовольства и якобы явной самодостаточности. Социологическое мышление не затрудняет, а способствует потоку переживаний и их обмену. И если говорить прямо, она прибавляет неопределенности, поскольку подрывает усилия “заморозить поток” и захлопнуть все входы и выходы. С точки зрения власти, озабоченной установленным ею порядком, социология является частью хаотичного мира, скорее проблемой, чем решением.

Наилучшая служба, которую социология может сослужить людям в их повседневной жизни и сосуществовании, — это стимулирование взаимного понимания и терпимости как постоянных условий общей свободы. Социологическое мышление не может не способствовать пониманию, которое порождает терпимость, и терпимости, делающей понимание возможным. Как сказал американский философ

Ричард Рорти, “если мы позаботимся о свободе, истина и добро сами о себе позаботятся”. Социологическое мышление помогает делу свободы.